



**ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека
имени Валентина Яковлевича Курбатова»**

Кабинет Валентина Яковлевича Курбатова

**Общественный проект по сбору цитат писателя, критика,
лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова
«Цитаты из Курбатова»**

2022



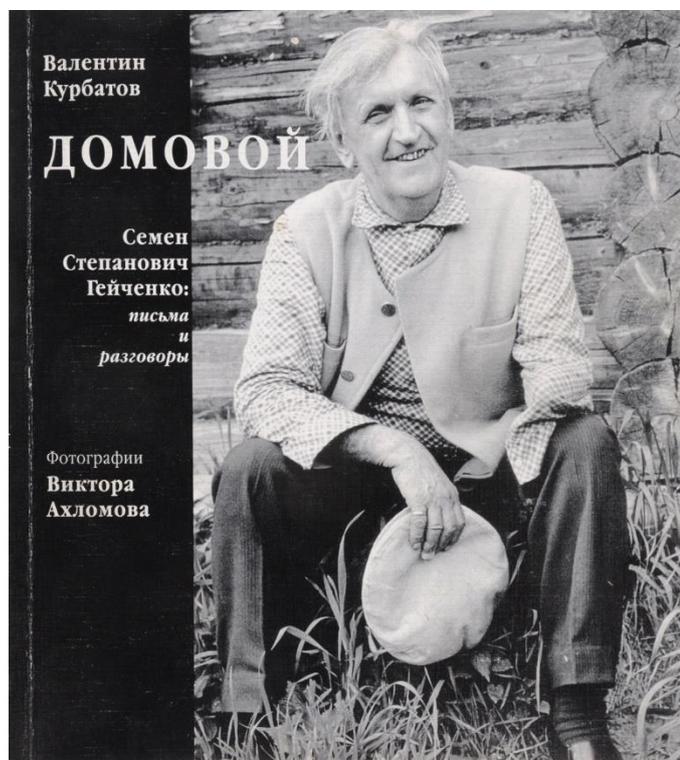
Валентин Курбатов известен как русский златоуст, псковский кудесник. Его проза – сокровищница наблюдений, мыслей и образов. Сборник цитат по произведениям Валентина Яковлевича дает возможность широкой аудитории познакомиться с творческим наследием писателя.



Из архива режиссера Владимира Кузнецова

1. «Домовой».

Семен Степанович Гейченко: письма и разговоры,
записанные Валентином Курбатовым в разные михайловские годы
в фотографиях Виктора Ахломова, снятых в те же годы»



А тайна была проста, и она была в том, что он сам не хозяйствовал и не директорствовал тут, – он тут жил и входил в пушкинский век опять, по своему обыкновению, не с одного книжного крыльца и не только от анализа документов и архивных разысканий, но из всей полноты здешнего мира, находя и всякому облаку и дереву его «законное место» и выведывая у них, как быть равным им в подлинности и правде.

Ну вот для примера хоть самое мелкое, невидное. Он еще по Петергофу знал парковые законы и для чего надобны и как устроены куртины и рабатки, боскеты и лабиринты, а тут он постепенно открывал и какие из здешних цветов когда закрываются на ночь, цветут и умирают, чтобы их жизнь в саду была непрерывна, и не забывал даже и их невинную грамматику, уже неведомую нашему нецветущему веку, но, например, тригорским насельницам очень даже известную. Они и во сне могли сказать, что пион означает стыд, астра – коварство, ландыш – кокетство, а герань – предпочтение.

Сама по себе жизнь ему казалась в музее дороже одной научной подлинности, и именно потому, что он добивался жизни, он добивался и убедительности.

Ученый со своим вечным «почему» с первых его дней здесь неразрывно соседствовал в нем с хранителем и художником, спрашивающим при этом еще и «как», чтобы наука оборачивалась поэзией, без чего здесь все будет неправдой.

Я скажу вещь для пушкинистов сомнительную, но уж, что чувствовал и видел, то и говорю: Михайловское было домом Пушкина именно потому, что оно было домом и Гейченко, своим домом, жильем, а не мемориалом, и хранитель был не слугой, а товарищем поэта, его «домовым», ангелом-хранителем.

Долгий опыт любой жизни говорит, что в каждом человеке сто человек, а уж в гении, верно, это «население» и того больше.

Но, увы, нашего сердца и нашей памяти хватает ненадолго... Душа почти нарочито делается забывчива, будто защищается, чтобы полегче переносить слишком подвижную, нравственно нечистую жизнь. Учишься защищаться от зла, а теряешь память.

Больному времени не до осмысления великого явления.

Мы, может быть, стали «умнее», но, увы, потеряли с минувшим естественную живородную связь.

...Музееведение – это не наука, а способ жизни. Разумеется, не для всех – для единственных, для счастливо совпадающих со своим назначением людей. А такие совпадения редки, как редка в человечестве настоящая любовь.

Нет виноватых, а будто и виноват, и неотчетливая тоска щемит, как заноза.

Нам такой жизнью уже не жить и таких писем уже не получать, потому что это была, кажется, последняя ветвь старинной коренной пушкинской переписки и жизни.

В радости и свободе нельзя убеждать, ими надо жить.

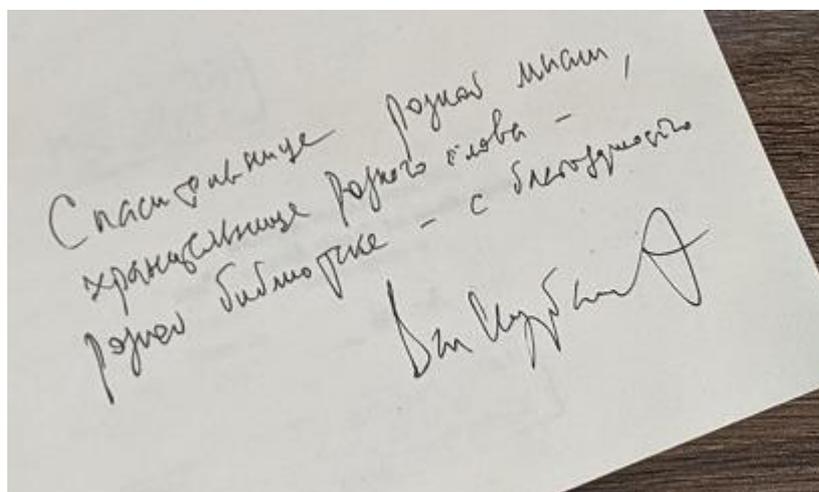
И будет иметься в виду, как ни странно прозвучит, Пушкин не московский, питерский, кишиневский, одесский, болдинский (нет, конечно, и их, и их!), но прежде и перее всего вот этот – михайловский, собравший под своими небесами все самые малые и самые великие чувства русского сердца от «Играй, Адель, не знай печали» до «В дни бурные державу ты приемлешь».

Должно было пройти время, чтобы мы увидели, что Семен Степанович был здесь все года своей жизни и Пушкиным, и Родиной, и читателем, и молитвой, и свободой.

Кажется, Семен Степанович строил даже и сам пейзаж, чтобы он не расходился с русской поэзией, чтобы Пушкину дышалось во все сердце.

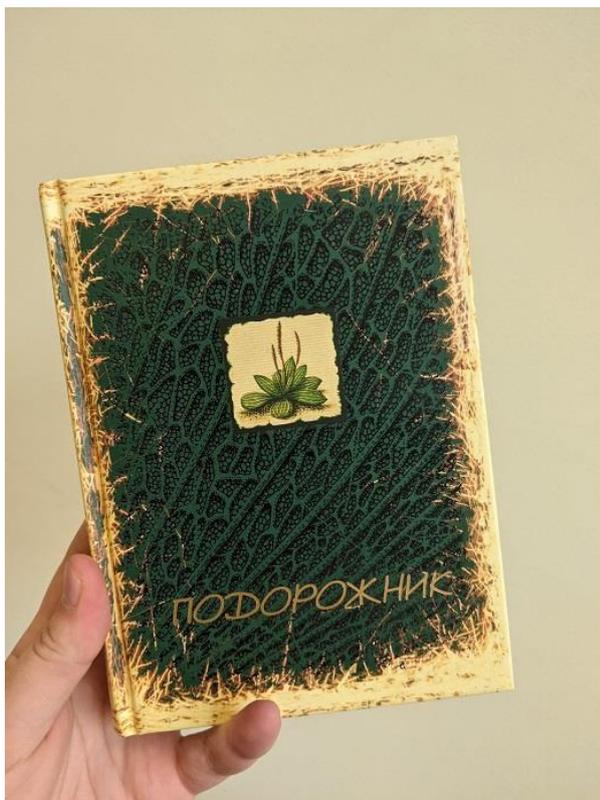
Это был единственный случай взаимного слышания, когда Пушкин каждое утро ждал, о чем еще догадается из его здешней жизни Семен Степанович, и выходил ему навстречу с объятием.

...В Михайловском благодаря хранителю, домовому... поселился не только великий национальный поэт России, но и все наше русское сердце. И теперь уж подлинно навсегда...



Спасибо тебе
хранительнице
ружьи библиотеке - с благодарностью
ружьям Михаил,
ружья голова -
Ван Кузнецов

2. «Подорожник. Встречи в пути, или Нечаянная история литературы в автографах попутчиков»



Это устное слово может быть унесено ветром дня, а написанное уже не сотрется и продлит и себя, и тебя.

Семен Степанович Гейченко и сейчас... явление в музейной культуре живое и действенное – с прекрасной мифологией, яркими легендами, неизбежной долей вымысла, которым он и сам владел в совершенстве, вчитывая в историю поэтические подробности...

Но, увы, нашего сердца и нашей памяти хватает ненадолго. Ни любовь, ни дружество, ни даже чувство утраты уже не проникают сердце насквозь – скорее отмечаются в нем, будто в книге приезжих. Мы теперь скорее знаем чувства, чем переживаем их.

Легче прощаться с улыбкой. Так лучше помнишь.

О подписи

С этим часто бьются молодые художники, пока слава не освобождает их от этих честолюбивых забот.

Сказочники и детские поэты живут в своей вселенной, которая граничит с нашей, но не знает угрюмства взрослой расчисленной жизни, храня наше лучшее, как замысел Бога о нас.

Или... мелькнет чудесная мысль, что Троица – загадка, равная Сфинксу, отгадка которой в самом человеке, и, пока мы не знаем отгадки, мы наказаны смертью, а поймем – и смерти не будет.

Но это, кажется, только раз – о смерти, а так свет и свет.

Как неожиданно близки вопросы поэтов, любящих допрашивать Бога о Его цели!

А я скажу: какое счастье, что у нас есть писатели, которые никогда не сделают литературу «работой», а проживут ее с последней страстью и силой и только кровью сердца и осветят каждое слово.

Никак мы тогда из матушки-политики выкарабкаться не могли: куда ни повернись, непременно заденешь. И не в неловкости было дело, а больно уж тесно она мебелировала нашу жизнь – не протиснешься.

О Пскове

Самого-то вымани-ка. А как приедут гости – видишь, как прекрасен город, как много в нем переменилось. И сам загораясь и радуешься больше своих спутников.

...Времени нет и, как кажется, нет и пространства, а есть счастье мгновения, включающего всю полноту мира с его бесконечным вчера и бесконечным завтра.

К прекрасному, совершенно столичному, «княжескому» не по имени только, а по стати Борисоглебскому храму еще надо было идти Первой и Второй Безбожными улицами, которые пересекались с Комсомольским и Коммунистическим тупиками. Мы жили «там» и «тут» и нигде не

находили места. Мы рвались к единству, но никак не могли встать на ноги, почувствовать настоящую, не в одном слове таящуюся опору.

Как же мы различны и как такая малость, как автограф, сразу говорит о нас, – совершенный портрет, и биографии писать не надо.

...Поэты лучше слышат короткую правду дня.

Каждый год Михайловское будет мелькать в записях и будет истинным подорожником при всяком пути.

Культура не знает возрастов. Это только для удобства классификаторов мы делим ее, как историю, на античную и классическую, ренессансную и современную, а внутри она течет себе единой рекой, и Сафо в ней сверстница Ахматовой, а Катуллобнимает Петрарку, и они вместе братски кивают Пушкину.

Он, как многие из одаренных людей его поколения, дал себе образование сам (или взял его – не знаю, как сказать вернее), вышколив вкус и научившись с младых ногтей не тратить силы на случайное чтение...

О Павле Бунине

Он коснулся главной загадки Пушкина – его целостности, которая и есть единственная тайна гения.

Тишина встала, как часовой в дверях.

И всякая дерзость прощалась именно из братского чувства единства.

Величие настоящей дружбы, пожалуй, заключается в том, что друзья непременно будут стараться перезнакомить между собой и своих друзей, чтобы в каждом по возможности видеть отражение всех. Иногда случается так, что, уходя без времени, они оставляют нам друзей словно бы в завещание, и мы сходимся с опозданием, печальась, что уже не сможем порадоваться полноте встречи...

Когда повреждается и темнеет музыка, это не очень видно немзыкальному сердцу, но рано или поздно сказывается и на нем, потому что немеющая душа мира (а что такое музыка, как не эта сама душа?) незаметно обескровливает саму материю жизни...

А только все-таки не «красота оружия» спасает мир и русского человека, а милая Родина, которую мы таинственным образом находим не в одном своем родовом доме, а вот и в Ясной [Поляне], в Михайловском, Спасском, как будто усадьбы и слово, в них рожденное, становятся общей формулой, общим символом веры.



...Театр всегда немного вне времени... В нем могут соседствовать и посреди беды – игра, и посреди игры – беда. Могут соседствовать улыбка и отчаянье, беспечность и тоска, восхищение мгновением и смерть, как соседствуют в символике театра маска смеха и маска печали.

...Музыка сердца всегда умнее музыки ума...

Мы незаметно теряем в ровной слепоте механических шрифтов что-то необыкновенно важное, именно русское, сердечно-доверчивое.

Но новое не торопится умнеть, унижая жизнь упрямым вхождением в одни и те же воды, как бы Гераклит ни утверждал обратное.

Слово не то что переставало слушаться – оно возвращало простую трудность первого значения и еще не знало, что его скоро предадут и опустошат, сделав правду безопасной игрой и пустою забавой (говори что хочешь! всё можно! давай, давай! ничего не будет! И первой не стало правды). Но пока слово было еще живо и пламя его горело настоящим огнем.

Вот и нас еще держало русское слово – наш ангел-утешитель. Оно еще боролось за нас, когда у нас самих уже опускались руки.

Мы были тогда провинциальными журналистами, а это значит, при малых штатах молодежных газет должны были уметь всё. Это была прекрасная школа, которая и сейчас отзывается в сердце светом и уроком правды.

Бедные злоречивые циники, мы сегодня трусливо и стадно осмеяли минувшее, считая обиды и поражения, коря несвободу и тесноту цензуры, но как-то пропустили главное – что тогда искусства оглядывались друг на друга: слабел театр, зато крепла живопись, темнела она – светала литература.

О Родине

И только у нас – матушка. И чуть от нее отделился – сразу острое чувство сиротства.

«Великие» к этому времени уже ушли (они являются миру, когда есть народ; как только народ становится населением, великие уступают место «звездам» и «кумирам», у которых отчего-то не хочется просить автограф, потому что он у них не «подлинная рука», не «своеручник»).

Об Астафьеве

Виктор Петрович умел смеяться над собой раньше своих врагов.

Болтливому человеку это долго объяснять, а на глубине это просто. Монахи знают это лучше писателей. По-настоящему сильно и деятельно только молчание человека, знающего силу слова и лучше других владеющего им. Тогда молчание крылато, потому что слову возвращена первоначальная немота смысла, когда предмет, человек, природа, жизнь еще растворены в живой, неназываемой Божьей полноте.

О «Подорожнике»

Но вот теперь, когда с первой записи прошло сорок лет, стало видно, что и в малом осколке зеркала – целая жизнь. А когда этих осколков собирается много, оказывается, что она отразилась в них вся – в героизме, любви, сомнении, падении, воскресении.

Сестра-жизнь и братец-путь всё светят впереди, и книги зажигаются одна от другой.

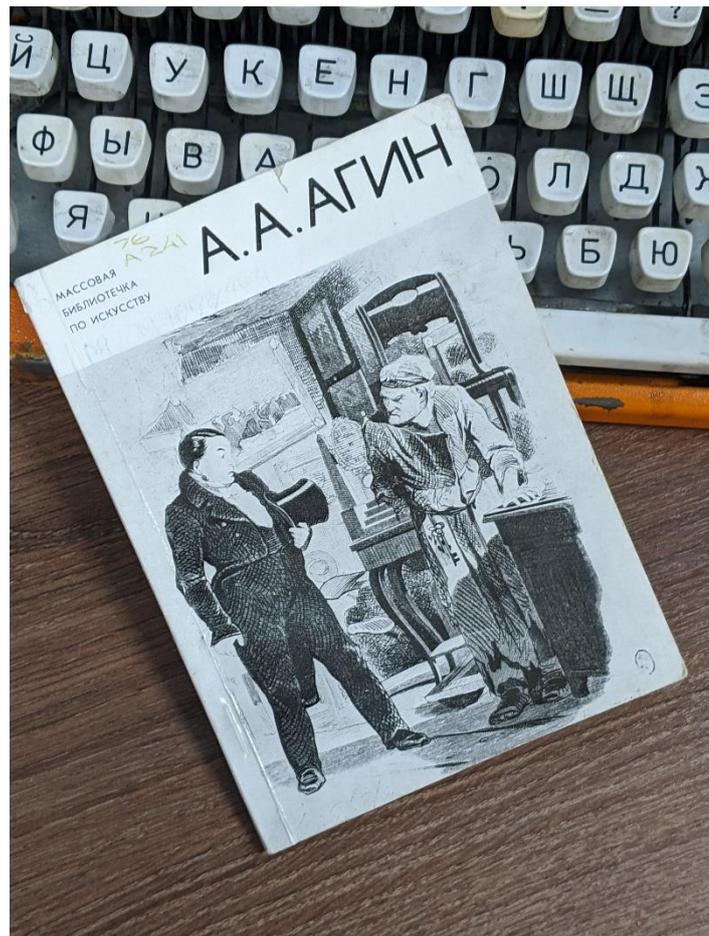
Наверно, таков феномен книги вообще. Она, как выросшее дитя, однажды уходит из дома, оставляя на сердце рубец, и живет где-то независимой жизнью, и ты уже не защитишь ее и не убережешь от чужого суда.

...Жизнь по-прежнему милосердно полна. Просто новые поэты и прозаики живут по-другому, над другим смеются и о другом плачут и будут к старости так же сентиментальны и застанут себя в слезах там, где мы бы прошли только с досадой и непониманием.

Время продолжает идти за окном и навсегда останавливается только в книге, дожидаясь читательского взгляда, чтобы снова вспыхнуть вечным «здесь» и «сейчас».



3. «А. А. Агин»



Провинция только напоила его и еще не успела отравить.

Он был защищен от отравы наблюдательностью, сторонним зрением классификатора, будущего художественного летописца.

Литография укрепляла позиции и выполняла благородную функцию ознакомления русской аудитории, интересующейся искусством, с лучшими холстами мировой живописи.

О художнике Владимире Донатовиче Орловском

Орловскому подражали. Россия глядела с его листов лихо и удачно. У него и худые лошади и бедные мужики казались орлами. России, победившей Бонапарта, это было чрезвычайно по сердцу.

О Венецианове

Венецианов, первый накинувший на Музу платье простолюдинки...

Глаз провинциального юноши Агина, обострившись в наблюдении реальности...

Для Брюллова улица была запретна и погибельна, для Агина уже позволительна и благотворна, хотя между временем их становления едва ли двадцать лет.

1837 год

Уже убит Пушкин. Уже написано «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, и, признанный безумным, он с вежливой брезгливостью встречается у себя на Басманной психиатра, который регулярно навещается к нему, потому что «государь озабочен здоровьем подданных». Уже написано корнетом лейб-гвардии гренадерского полка М. Ю. Лермонтовым стихотворение «На смерть поэта», и император, считавший, что в России дельные, искренние, ясно сформулированные мысли высказывают только безумцы, велит «старшему медику гвардейского корпуса посетить этого человека и удостовериться, не помешан ли он, но потом вспоминает, что мера, примененная к статскому Чаадаеву, не самая подходящая для военного Лермонтова и шлет его на Кавказ. Уже сослан Герцен.

О Брюллове

А «Великий» церемонен не был, середины не знал – хвалил так хвалил, а уж ругал, так соломы не подстилал.

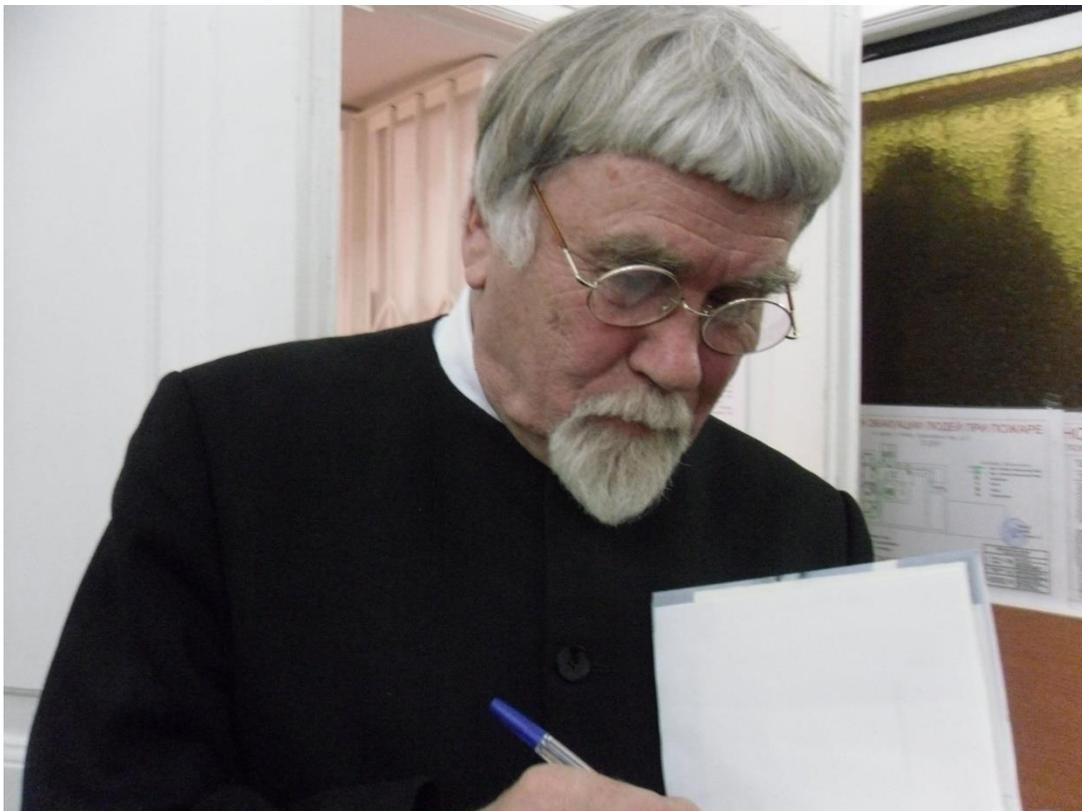
Об Академии художеств

Школа была так властна, уроки ее так систематичны, а влияние учителя так прочно, что надо было еще не один год осматриваться в своих художественных владениях, самому проверять ценность и жизненность заветов, с которым он оставил ученическую скамью.

...Лучшею дорогой была именно иллюстрация, где совершенство литературного первоисточника задавало необходимый уровень культуры и ответственности.

Об Агине

Надо было переменить себя целиком, чтобы согласовать, наконец, исполнение и задачу. И он решился.



Из архива режиссера Вячеслава Орехова

В рисунке Агина немедленно явилась мешковатость, подчеркнутая лень и небрежность линии, продуманная незавершенность и наивность – дорогие черты, без которых не напишешь как следует русского провинциального человека.

Манилов – лентяй, полюбивший эту лень и принимавший ее в себе за порывистую чистоту, – почти симпатичен в рисунках. Агин, приглядываясь к нему, даже не досадует – пусть себе живет этот сорный цветок, этот Нарцисс, любящий отражаться в глазах жены и случайного гостя.

Собакевич, всех аттестовавший подлецами, видать, и за свою репутацию спокоен, как это обыкновенно бывает с такими людьми, и вот, садясь за осетра, взглядывает на нас с рисунка вороватым взглядом, не скажет ли кто-нибудь потом, что Собакевич жадноват.

Ноздрева наше мнение как будто занимает мало – он сам знает, что хорош, что душа-парень, что не любить его нельзя, но все-таки боковым зрением видит, как мы принимаем его простоту, его открытость, его щедрость, его вранье, и этим боковым зрением отмечает, можно ли еще прихвастнуть или дальше уж будет лишку.

Один Плюшкин не видит зрителя и не печется о его мнении... Ни один последующий иллюстратор уже не мог вырваться из-под властного влияния Агина, когда принимался за фигуру Плюшкина.

Силы Агина в самом расцвете. Он умеет все, и теперь бы только работать и работать, но время потемнело, и с ним потемнела душа Агина.

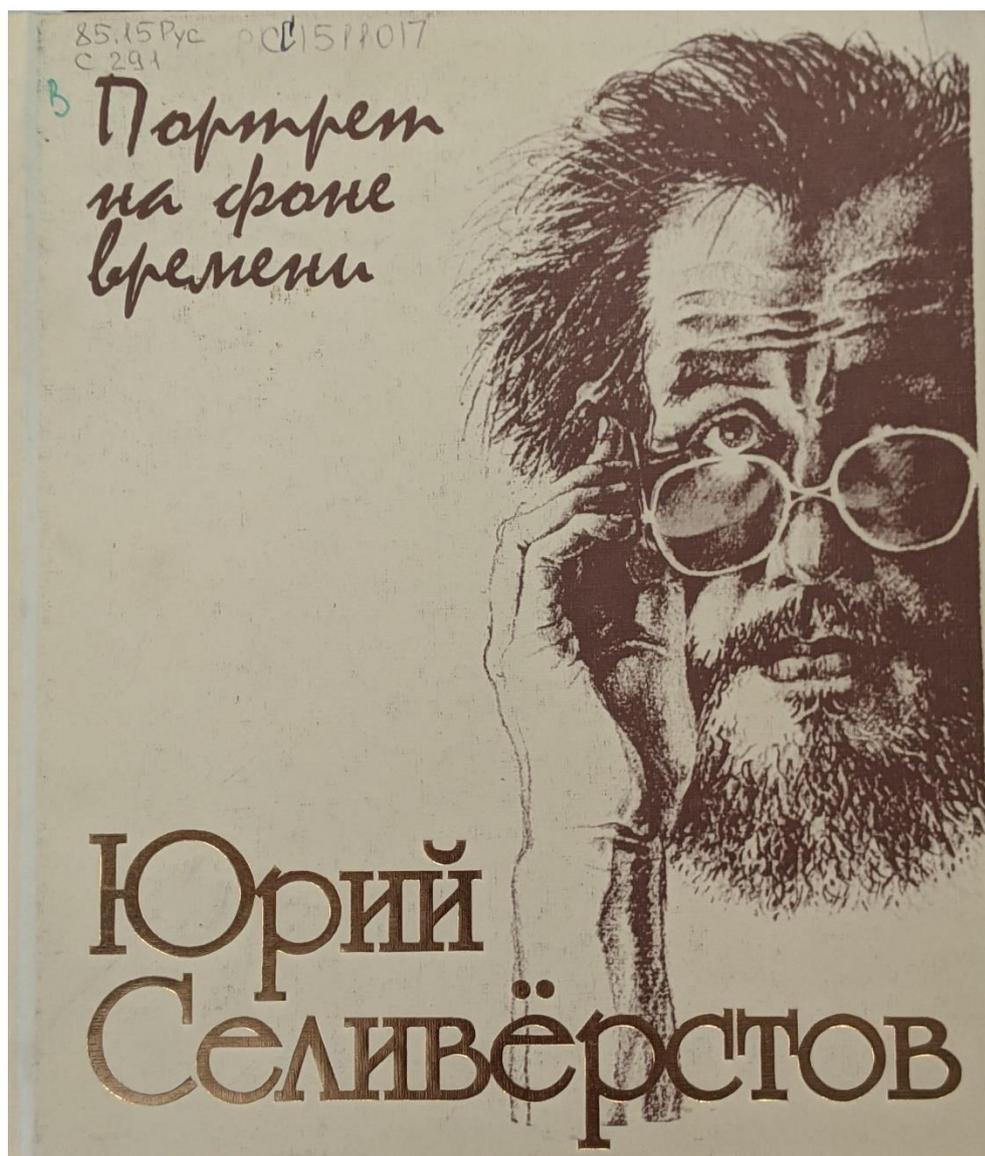
Русскому человеку изломаться нетрудно, особенно если переход застигает его на самом взлете, когда он поверил в удачу и даль спокойного развития. А тут начинаются удары и утраты.

Агин-художник, иллюстратор Гоголя, умер за двадцать лет до смерти Агина – титулярного советника.

Его задача была проста и ясна – сказать русскому человеку ту правду о нем, которую юноша успел увидеть вокруг, окропить искусство живой водой реальности, соединить графическое мастерство с правдой жизни, быть своим среди своих.

С него русская иллюстрация стала не служанкой, но союзницей литературы, ее единомышленницей и начала свою незаметную, но неуклонную воспитательную работу, которая способствовала формированию искусства демократического, ставящего своей целью служение освобождению и возвеличению народа.

4. «Юрий Селиверстов: портрет на фоне времени»



Это очевидно с порога – написать объективную монографию о сверстнике нельзя. Собственная судьба начнёт контрабандой протаскивать в чужое «моно» свои воспоминания, подставлять свои реалии в праведной уверенности, что общность поколения предполагает и сходство восприятия и толкования действительно внутренне близкого в поколении мира.

...Опыт мировой культуры давно уже научил нас грустной истине, что, кого бы мы ни писали и кого бы ни избирали в герои, мы тайно пишем автопортрет.

Наверно, так проступает в нас поколение: слушаешь чужое, думаешь о своём, а опоминаешься уже посреди истории.

Маленькие-то ростом часто компенсируют свою «малость» проворством ума и бойкостью нрава – как прокатится весёлый клубок школьников, так непременно увидишь, что в середине вертится самый маленький.

В жадном рисовании они видели больше простого созерцателя, усваивали родной мир рукою, глазом, сердцем, каждой внимательной клеткой, соединяясь с ним до потери себя, до полного растворения.

...Но сердце умнее сознания – оно всё сберегает на долгую будущую, иногда полную страданий жизнь, чтобы человек бессознательно грелся у такого воспоминания и на нем строил душу и понимание мира.

Об образе Древа у Селиверстова

Дерево будет прорасти из листа в лист с упорством ускользающей догадки о каком-то важном всесоединяющем решении.

Но судьба защищает нас от самих себя, скрывая логику нашего становления. Сколько мы всего делали в детстве: рисовали, фотографировали, лепили – всё уносится временем, разлетается без следа, а сохранившиеся осколки кажутся зашифрованными и никак не приоткрывают целого.

Но этюдник, как счастливое каторжное ядро, не пускал его.

Впрочем, в свое время минувшее тоже было молодо и так же высокомерно глядело на своё «вчера», так что сегодня оно только рассчитывается по старым векселям.

В начальные шестидесятые годы, казалось, все пустились работать для этого нового искусства сами и немедленно. В живописи вызов был решительнее всего. В поэзии и прозе слово ещё помнило свои прежние значения и только кренилось в новых контекстах, но ещё было привычным и узнаваемым. Менялась, молодеда только интонация, доверчивая или

ироническая, но и в иронии сыновне-бережная, близко не знавшая сегодняшней мстительной брезгливости и какой-то ожесточённой, нарочито низменной в словаре расчётливости с прошлым. А живопись, словно в возмещение долгого поста, не то что открыла окна, а, похоже, и стёкла перебила в мастерских, впустив разом столько нового знания и столько потаённо наследованного, что и переварить оказалось поначалу не в силах.

Поневоле кажется, что старые фотографии потому и живы и лица на них потому так глубоки и интересны для нас, что выдержки тогда были длинны и лицо при внешней неподвижности жило, длилось... совершенство руки художника тут было равно добротному несовершенству старой камеры.

Вероятно, только гении, точно стрелы, пущенные Господней рукой, летят к цели, не отклоняясь. А талант, особенно в неустойчивые годы, когда душа подвергается действию разных сил, торопится изведать всё, и эти-то поиски и складывают потом фон общей мысли...

В самом же художнике, если основа души крепка, случайное опадает, а необходимое избирается словно само собой, без усилия.

О Селивёрстове

...Художник во всём, что рисовал и писал, прежде всего искал не плоскость, а лицо.

...Крепкая закваска властного рисовальщика и архитектора не даст ему увязнуть в декоративности.

...Это у нас и по сию пору способ сведения на нет талантливое человека – премию ему в зубы, и пусть идёт, а строить найдутся послушные, а не талантливые. И сейчас архитекторов-то пруд пруди и премии им перепадают часть, а заглянешь в лицо наших городов и только зажмуришься от стыда, словно в какой-то всеобщей европейской или американской колонии живешь.

Судьба, может быть, только для того и приводила его на архитектурный факультет, чтобы он вернее и благодарнее почувствовал соразмерную красоту мира, равно в книге, космосе, молекуле. И чтобы

больнее других ощущал нарушение божественного равновесия, когда придёт пора увидеть эти сбои и сдвиги, и искать им опять же архитектурно выстроенные умозрительные и духовные объяснения.

Ведь и Истина постигается не всегда одним очевидным осязательным знанием. Порою, как писал отец Павел Флоренский, «лазурь вечности» лучше бывает видна «сквозь зияющие трещины человеческого рассудка».

Жанр не хотел отменяться живописью, он ещё был неподорванно силён и обнаруживал, как крепок традиционный корень страстной русской художественной школы, всегда пропускавший сюжет вперед.

...В Брейгеле – какая-то суверенная самодостаточность жизни, которой, кажется, вполне хватает себя и без всякого зрителя. Это была сила спокойной веры, сила ещё не оторвавшейся от себя жизни.

Это уже из области судьбы и предназначения, что открывается позднее, когда случайные события вдруг сами собой сбегаются в причинные цепи.

Он понял, что правда реальности, доведённая до звонкого предела, когда нестерпимая подробность света, деталей, лиц уже соскальзывает за грань естественного чувства, вызываемого сюжетом, может сделаться опасна. Любовь, двигавшая художником в начале работы, при чрезмерной технической шлифовке холста может выветриться, разойтись на решение технических задач и ускользнуть от работы.

...Любовь к реальности и чрезмерное почтение к ней приводит к неправде, и тут нет даже и тени парадокса. Эти «новые реалисты» связывают жизнь, парализуют её, мумифицируют, засушивая мгновение в безупречной точности, как энтомолог бабочку (ничего в ней не повреждено, но жизнь отлетела от неё).

Догадка о силе сюрреализма, о его возможностях в иллюстрации... уже подталкивала проверить её справедливость на деле.

Великий мир счастливого воображения, всегда свободное государство детей даст им «политическое убежище» от взрослого угрюмства и неустанного духовного притеснения.

Физики подлинно были в почете более, чем лирики. Тонкий ум и блестящий скепсис аналитиков были модны. Физики сделались новыми романтическими героями. На сцене и на экране они посмеивались над заблуждениями предшественников, облучались, скромно погибали, успев сделать над собой последние наблюдения.

Все прозрения экзистенциализма, все подглядывания смущавшего наше целомудренное советское сознание и захватывающего Фрейда, всю накапливавшуюся усталость от уже не то что темнеющего, а как-то медленно сжимающегося времени, исподволь подмораживающего всё, что успело оттаять в «оттепели», – всё это как-то разом сошлось в истощающе подробных листах селивёрстовских иллюстраций.

О художественной выставке

...Обычно работы в процессе рождения существуют суверенно друг от друга. Каждая строит свой мир и ограничивается лоном своего замысла. А тут они из разных лет и школ ревниво и благодарно, снисходительно и любовно (со всеми оттенками человеческих отношений) глядят друг на друга и вместе оказываются с единой судьбой, полнотой единой мысли.

Это мы только с виду уходим от себя прежних без возврата, а на последней глубине из себя не выпрыгнешь.

Когда долго живешь – привыкаешь, что это у нас вроде национальной черты – чтобы в одну несколько жизней помещалось.

Все мы ощущаем в себе как бы двух людей разом – повседневного и того, кем полагаем себя в настоящем значении, и этого второго часто или переоцениваем, или вовсе не знаем, пока не грянет какое-нибудь всё расставляющее по местам испытание.

С запятой прерванного разговора не продолжишь.

Историческое время расплывается, и станет видна скучная дрящущая вечность и своя для каждого из нас роль исторического статиста.

В молодости мы все бегаем по Европам (кто поудачливее и попроворнее – по настоящим, а кто поленивее – по книжным). Но с годами кровь говорит громче рассудка и часто зовёт домой, где всё беднее, но роднее.

Часто художник оказывается невольником своего успеха. Это министры могут работу бранить, а зоркие художественные редакторы и просто редакторы смеют иметь своё суждение и, высмотрев близкого видением мира художника, начнут наперебой сватать ему новые книги, прося о похожем прочтении.

Даже напрямую непрочитанный символ, если художник искренен в чувстве и умён в выражении, непременно заденет сердце и будет щемить каким-то не проступившим воспоминанием, как нечаянно забытое, но важное слово.

Многие тогда и, может быть, особенно теперь путь «на родину» с Достоевского начинали.

А оттого, что время потихоньку темнело и забывало оттепельные надежды, мысль особенно двоилась и отступала в самозащитное одиночество и последние вопросы (в одиночестве особенно тянет «мысль разрешить»).

И естественно находила Достоевского, который ждёт человека, когда он оказывается за воротами рая душевного единства.

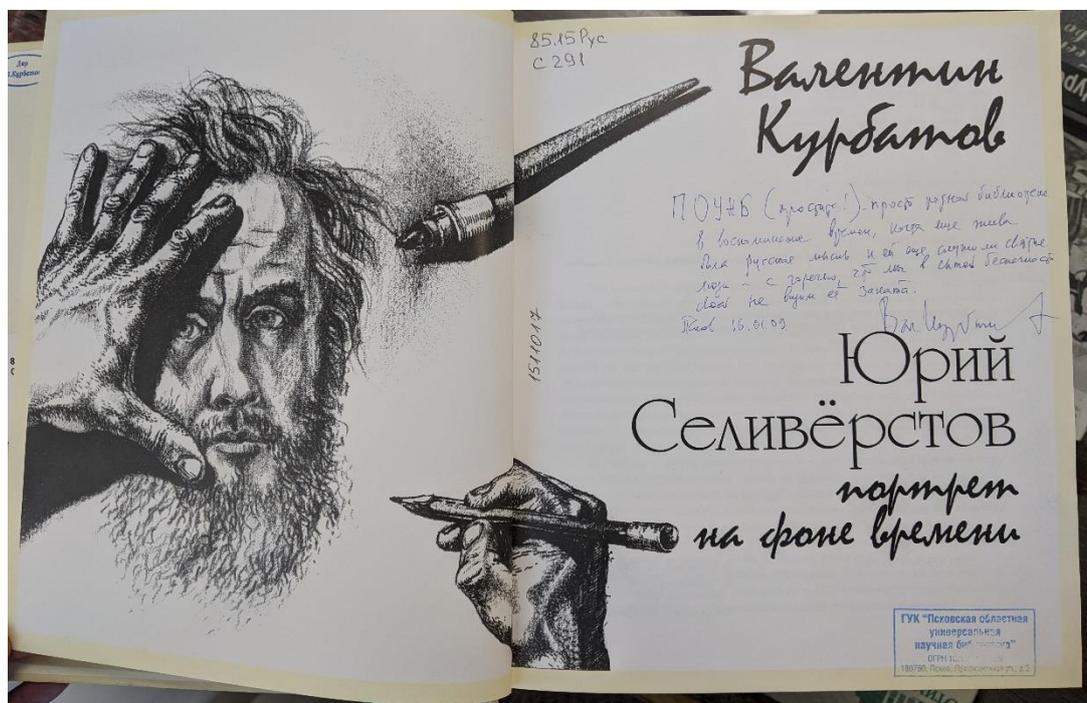
Как у нас тупик или сомнение, так наступает какой-нибудь спасительный юбилей, является русский гений с очередной годовщиной и поддерживает слабеющую мысль.

...Если художник живёт сегодняшней мыслью с настоящей полнотой, то эта мысль непременно обнажит, что она только часть вечно становящегося целого мирового искусства, где прошлое и настоящее призывают друг друга, являясь единым живым духовным телом.

Он всё делал незамедлительно, не думая об «удобно – не удобно», потому что его вела не корысть, а свет мысли.

Все эпохи и культуры связаны друг с другом неясственным, порой трудно уловимым, но неизбежным и тесным образом, и «серединка» у всех одна.

В сюрреализме вообще есть опасность потерять границу и из хозяина положения стать инструментом и жертвой, слишком поддаться затягивающему воображению (что в просторечии верно зовётся «бес попутал»).



Новый Завет – не книга для чтения. Это кровообращение и мера духовного устройства. Это навсегда.

Привычка, увы, часто оказывается сестрой равнодушия.

Когда тьма ведёт человека долго, её одним крещением не прогонишь.

Это еще одна подлость времени. Оно сталкивает художника для заработка в случайные углы в надежде, что он задохнется, и не ведает, что свободная душа свободна и на пяточке камеры, и настолько свободна, что и товарища по камере с собой уведёт.

И всё время катится по полям судьбы и книги искусительный плод древа познания, как сладость и горечь мира, как сущность и пустота, обещание и обман. И открывается, что «пропасть» слово двузначное – пропасть как «много», как «через край» (столько потребно человеку терпения в этом мире). И пропасть – как бездна, неисчерпаемая глубина того же человеческого терпения в истории.

Во многих из нас повседневная жизнь и дух ходят разными дорогами.

...Когда душа живёт в естественной повседневности, так в ней высокое порой может оказаться в тревожной близости с такой темнотой, что это, пожалуй, и напугало бы, когда бы после Достоевского мы не знали, что это свойство души всякого русского человека.

Мы уже успели общим местом сделать, что художник не должен дублировать текст, должен искать эквивалент, но это только сказать легко, а поглядите-ка наши книжные иллюстрации, наши поэтические эквиваленты и тотчас увидите, что настоящие удачи сочтутся по пальцам.

«Жертвенное объединение, державное сплочение» – опять, как встарь, это стало болью, да только нет уж великих анонимов, кто сумел бы возвысить голос до страдающей высоты «Слова», кто напомнил бы, что возрождение, о котором мы сегодня так бойко говорим, даётся не риторикой, а жертвенностью служения позабытому нынче слову «Родина».

Что такое был «Огонёк» в первые перестроечные годы, напоминать не надо – он был «знаменем» и «матрицей» новой мысли – его можно было ненавидеть, но миновать было нельзя.

Мы не могли наговориться и не могли усидеть дома. «Насиженных мест» не осталось – всё было в дороге.

Древо нашего познания взросло на другой почве. Надо было заново прививаться к забытому родному.

Каждое поколение тайно уверено, что оно одно впервые поняло Пушкина с наибольшей полнотой, потому что только в этом времени открылись оттенки его мысли, которые ещё не были ведомы предшествующим временам. Будем надеяться, что это счастливое заблуждение так и будет идти с ростом человечества. Этой тайной, печальной, светлой, ушедшей в себя и уводящей с собою радости хватит на всех.

Если сказать торжественно и в духе самих мыслителей, то они делились бы, скажем, так: пророки, апостолы, деятели.

Общая оглядка важна и в самих учениях, и в том, как мыслители были бережно внимательны к мысли друг друга. Сколько мы пытались расколоть, столкнуть, противопоставить определившихся после Пушкина западников и славянофилов, развести их (и сейчас не менее неутомимо, чем прежде), а всё прав Герцен – сердце в них билось одно. Пушкинская закваска не пропала.

Люди одной культуры, они ценили не одну братскую переключку, но и несогласие, понимая, что без него русскую мысль не ограничить.

Ими руководило не тщеславие авторов той или иной системы взглядов, не творчество отвлеченной культуры, а забота о достоинстве и силе России.

...Русская мысль была детищем православной традиции, в кровь входящего христианства, крепкой домашне-органической русской церкви, хотя и тогда дух перетолкованного европейского просвещения, дух оглядки уже мешал видеть родное верно...

У нас мало ценилась литература в европейском понимании – как чтение, как беллетристический перевод реальности или блестяще рифмованная мысль. Это только сейчас нас стали приучать к мысли, что литература – дело «попутное», воскресное.

...Литератор в России всегда взваливает на себя не одну литературную ношу, а тотчас с полным осознанием своего назначения решает и общие вопросы жизни, ценя слово как прямое дело.

...Человечество варьирует в истории, в сущности, только три стадии: первоначальной простоты, цветущей сложности и второго смесительного упрощения.

О Николае Фёдоровиче Фёдорове

Это, может быть, был самый русский философ, отказывавший смерти в праве на существование в человечестве и призывавший объединиться не только для отмены смерти живущим поколениям, но и для воскрешения всех уже умерших.

О Владимире Сергеевиче Соловьёве

...Он был первый философ в европейском смысле и начинал последнюю по времени интеллектуальную ветвь русского знания, всё далее уходящую от корневой сродности, *от прозрения к построению*.

...Каждый художник воспринимает чужую мысль в самозащитной уверенности в полновластии одной своей точки зрения.

О Сергее Есенине

Город его съел, и он, защищаясь, врага знал! «Железный Миргород» уже наступал на его «избяной обоз», как наступал он на всю коренную культуру, и поэт не умел принять железного языка прогресса и удовольствоваться всё более тонким развитием мысли об уходящей России. ...Для Есенина уходящее – было само его сердце...

О Павле Флоренском

Нам и «всеединство» в сущности открывалось более всего через него, и потому, что он пришёл в нашу мысль из этого времени раньше других, и потому, что в нём как-то особенно наглядно вся живая прелесть неисчерпаемого природного мира сплавлялась с космической запредельной тайной бытия и всё переменчивое и летучее находило место в неизменном порядке Абсолютного.

И ещё я без всякой метафизики думаю, что ничего в мире не бывает случайно.

...Чудо ходит в обыденных одеждах (поэтому его так часто не узнают).

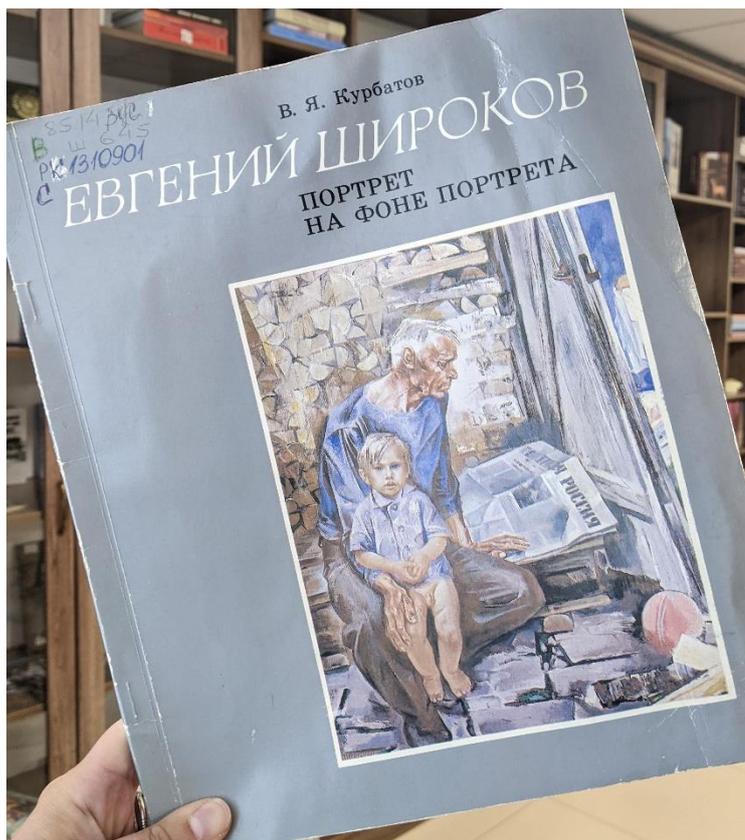


Наша простодушная уверенность, что общественное неустройство происходит только от неведения и что, как только прекрасно обдумавшая нашу реальность русская философская, экономическая и религиозная мысль будет явлена, жизнь станет умнее и достойнее (ведь рецепты были так глубоки и так горько оплачены!), оказалась действительно простодушной.

Памятник есть остановленное мгновение, а собор – это жизнь бесконечная.

Но он был мыслителем и искал синтеза слова и портрета, формулы и рисунка, лица и Лица.

5. «Евгений Широков: портрет на фоне портрета»



Подлинная жизнестойкость художественного произведения обеспечивается тем, насколько глубоко и искренне автор обдумал в картине собственную судьбу, насколько верно почувствовал движение времени.

При точной мере внутренних отношений прошлое естественно прорастает будущим и из настоящего становится равно хорошо видно вперед и назад...

... Но ведь мы не замечаем, как старятся отцы. Они просто однажды умирают, а возраст у них как будто всегда один, и он так и зовется – «отец».

Каждый, кто живет у реки или озера, знает, что они... как будто продолжение дома и улицы – так существенно их влияние на уклад жизни.

Когда какой-нибудь добрый человек и хороший систематик, любящий в знаниях порядок и обладающий глубоким художественным чутьем, соберет воспоминания о... народных мастерах по всем старинным промысловым центрам

страны в одну книгу, изумленному взору предстанет большая и отлично организованная культура, то периферийное потаенное лицо художественного гения нации, которое лучше любых деклараций скажет о даровитости нашего народа, делающего свое благо дело украшения жизни без честолюбивых притязаний, с обиходностью крестьянской работы.

Если в детстве направление дара нащупано верно, то школа, как бы значительна она не была, в сущности, уже оттачивает только инструмент – руку, глаз, мысль.

О 50-х годах

Искания новой образности, более емкого современного языка, тяготение к масштабному синтезу, отказ от описательности для аскетически ясной мысли были продиктованы самим временем, и художники торопились выговорить это новое понимание, не дожидаясь, пока общественное художественное сознание привыкнет к их языку, и выговорить им это хотелось именно на масштабном языке улицы, словно помещение было тесно.

Монументальное искусство властно и настойчиво окружало человека с фасадов и декоративных стел, обступало в интерьерах общественных зданий и становилось так последовательно в художественных принципах, что все мы скоро усвоили его язык и перестали смущаться даже очень решительными высказываниями монументалистов.

Отзывчивому уму и глубокому сердцу все внове и все на пользу.

Дети, особенно страдающие дети, – все человеческие. Тем русский человек и победил в войну, что и тягчайший час человека в себе не терял.

...Солдаты, говорят, все время живут в возрасте войны, и время идет для них по-другому.

Только слышна отчетливая, мощно напевная мелодия, вроде тех старых русских песен, для которых надобны крепкие легкие и вся душа до донышка.

Всякий человек – сын истории своего народа.

Старый мастер в основе своей свидетельствует, новый – собеседует.

Нынешний же портрет реже всего назначается дому. Он выдает в человеке не родовое, а индивидуальное, именно этому человеку свойственное, или социальное, общественное.

Современник – это прежде всего равный времени, соизмеримый с ним.

Художник – профессия тяжелая, и мужества ему надо много.

Цветовое богатство не то что заслоняет мысль, а как бы снимает ее сложность, ослабляет эстетическим удовлетворением.

Если перед тобой действительный портрет, писанный не для колористических демонстраций, если человеческое лицо не только повод к соревнованию цветовых масс, то сердце само подскажет, где властвует жизнь, а где умелое рукоделие.

Ленин был полемистом и мыслителем, умеющим заразить своими идеями других.

Истина – она на то и истина, чтобы, повторяясь, не стареть и не терять сути.

Автопортрет всегда немного замкнут. Как ни скрывай зеркало, а оно все равно ловит взгляд художника первым и только потом пропускает его к нам.

Фреска – техника цельных времен, когда действительность устойчива и определена.

Русский художник во все времена встречал возраст своей житейской и художественной зрелости с сознанием глубокой ответственности, взваливаемой на него талантом.

Настоящая свобода и настоящая простота даются ценою святого недовольства собой и ценой постоянного и не всегда утешающего труда.

В портрете художник говорит с моделью, и чем полнее их взаимное понимание, тем глубже речь портрета. В пейзаже сам выбор природы, само состояние дня или ночи, избираемое художником, сама даль небес и полей или теснота города есть исповедь автора, его любовное признание миру.

Натюрморт – жанр странный, отчасти парадоксальный... в натюрморте о живом надо сказать через неживое, и предмету надо обрести речь, которой он обычно не говорит, – иначе он окажется на холсте именно мертвой натурой, и вместо жизни будет видна постановка...

Руки завершают и уточняют мысль портрета. Они так умно и просто договаривают речь лица, что мы почти не видим их. И я думаю, высшая похвала портретисту – сказать, что руки его моделей незаметны. Зная, как трудно найти им осмысленное применение, художники прошлого нередко уклонялись от введения рук, потому что это порою равно задаче написать еще одно лицо.

Художники редко участвуют в дискуссиях о взаимоотношениях человека и природы, они только пишут волнующие их сердца картины, но общий тон времени и его забот выговаривается в их как будто интимно-частных работах иногда куда полнее сухих многостраничных отвлеченностей книжного ума.

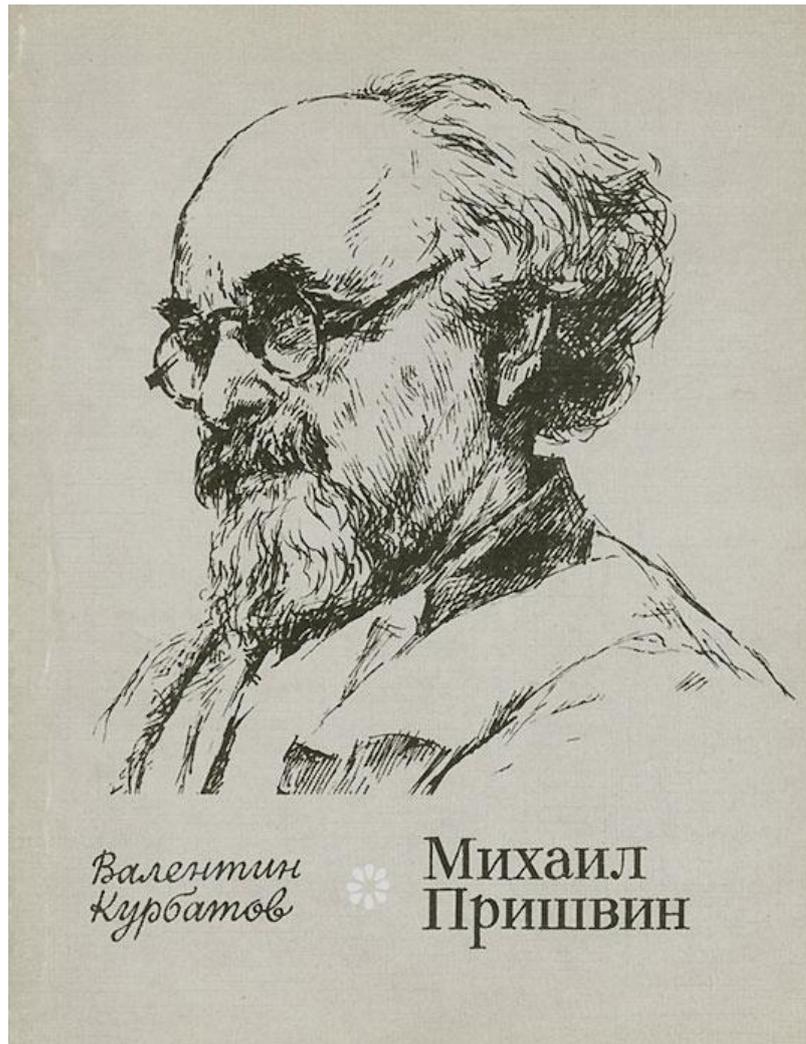
...Сама по себе дорога хорошей традиции не обеспечивает успеха. Если ты не сделал по ней хоть крошечного шага дальше, все к той же, не старящейся и не утомляющей цели – правде.

Просто в жизни всякого хорошего художника с той поры, как его мастерство созревает и у порога встает настоящая творческая свобода, время обретает иное качество. На место биографии с ее мало что определяющими частностями дат и выставок приходит художественная судьба...

Мы чувствуем главного героя всех портретов – растущую душу художника, она-то и придает его работам такую трепещущую живую интимность...

...Взгляд мальчика, молчащего, как умеют только дети, еще не растерявшие своего дара в напрасных и малозначащих словах.

6. «Михаил Пришвин. Жизнеописание идеи»



Пришвин до конца шел дорогой своего времени, как идет природа, не выделяя себя из общего движения, сжимаясь, где трудно, и распрямляясь в пору спокойного развития родной земли.

Дети вообще не глядят на что-нибудь отдельно. Они просто со всею полнотою *живут*, а мир сам сбегается к ним и доверяет им свои главные секреты, потому что они «одной крови».

Слух (а тогдашняя русская деревня и в господском доме больше слухом живет) вообще страстнее истинного свидетельства, потому что в нем уже есть элемент искусства – сказки, легенды, мифа. Слух сразу одевается сюжетом, переводя новое в привычные границы, которые подсказывают опыт и философия своего сословия.

Проблема свободы не оставит его в течение всей жизни, пока он будет искать примирения с детства борющихся «хочется» и «надо».

Вот что было тогда для него важнее всего: надо было спасти *чудо, как сущность и оправдание жизни*.

Я помню, как впервые поднялся на стену Изборской крепости под Псковом и разом увидел всю Россию, лежащую до горизонта в покое, в волнуемых ветром травах, медленно идущих облаках, дальних стадах и уже зябкой, холодно осенней воде озер. Простор был так широк, что сердце, охнув, умолкло, бессильное обнять эту даль отчетливой мыслью и достойным словом.

Легко быть мудрым задним числом. Так и хочется подсказать, что не надо изводить себя, а только взять и упорядочить все эти мысли и отдать их читателю, догадаться наконец, по строю слов, по их стремящейся к чужой душе мелодии, что вот это и есть твое главное дело – искренне говорить о красоте и открывающемся смысле земли и человека.

Впервые он не сочинял, не доискивался формулы вселенной, не оглядывался на образцы, да и не думал ни минуты ни о какой публикации, а просто писал о счастье жизни, и, благодарная, она открывалась ему в мельчайших оттенках.

Я понимаю всю метафизическую неотчетливость таких слов, как «судьба», «провидение», но все-таки настойчиво прибегаю к ним, потому что в них есть свой смысл, известный каждому, кто задумывался над закономерностью случая и совпадения и умел наблюдать, как случаи строятся в шеренги и начинают зваться причинами и следствиями.

Как и всегда в творчестве Пришвина, та или иная мысль, забрезжив в одном сочинении, постепенно развивалась и в дневниках, и в других книгах, и поэтому для подтверждения того или иного тезиса и исследователю нужно бывает заглядывать в дальнейшие работы, не опасаясь этим нарушить хронологию, потому что растет в сущности *одна* мысль, только обретает более очевидные формы.

Первый и самый трудный круг самосознания был завершен. Теперь он твердо знал, что его долгая дорога *из дому* все время вела его *домой*.

Но «культурный человек» обычно плачем и ограничивается, не пошевелив пальцем для достижения желаемого согласия с миром, а и решится, так скоро запугает себя оговорками, потому что полнота природы потребует от него и поступков, которые трудно согласуются с беллетристическим пантеизмом.

Символизм пугал его дематериализацией плоти, которую он уже тогда понимал как единую с духом.

Когда едешь на коне месяц и другой, ночуешь под низкими звездами, не боящимися человека, и живешь недвижимой, вечной, точно такой же, как тысячелетия назад, жизнью кочевников, скоро находишь ее естественной и в отдельные часы прекрасной, а свою прежнюю жизнь – диким сном без тени смысла.

Дело художника – снять покров повседневности и возратить реальности единичность.

...Отвлеченность он переносил плохо. Она была скучна ему, как и обыденность, не просвеченная чудом, и он знал, что подвиг художника как раз и состоит в преодолении скуки обыденности личной волей.

Охотник, он скрадывал не только дичь и мерил не одни поля; он так, легким шагом ходока и следопыта, шел и за живым словом, принося его потом читателю свежим, утренним, молодым, только услышанным, словно еще в росе.

Сказать короче – он стал *писателем*.



Из архива поэта, филолога Светланы Кековой

Но не зря писатели часто встречаются свое собрание сочинений с двойным чувством, и удовлетворение темнится робостью, словно за собранием надо делать нечто иное, как-то обновляться.

...У Пришвина мысль росла вместе с жизнью, переплетаясь с нею до совершенной неразъединенности; мысль жила, и жизнь мыслилась, и биография втекала в книги, осознавалась и упорядочивалась в них.

Люди за великой общей идеей перестали ценить единичную жизнь...

Спор о созидательной силе слова не утратил своего значения и в пору революции, только знак слова менялся.

В традиционном устойчивом быте стихия света и тени упорядочены преданием, законом, общественными правилами. С приходом революции два эти борющиеся в человеке начала – назовем их пришвинскими определениями «хочется» и «надо» – резко столкнулись в человеке и потянули его в разные стороны, потому что он думал, что новому нужны и правила все до единого новые, и признавал в себе старое как мешающее и вредное.

Он и до того, в ранних книгах, уже предпринимал попытки снять схоластическое противопоставление мысли и плоти, воссоединить их в человеке, одухотворить плоть и воплотить мысль.

...Литература давно принялась за соединение документа и вымысла, а кинематограф добился такой органической слитности, что эйзенштейновский «Октябрь» мы смотрим сейчас как фильм документальный.

...Повседневная жизнь – это великое дело каждого человека и каждый сам себе творец и художник.

...Знание через искусство перерастает в веру.

Жизнь щедро помогала ему в прозрениях, потому что видела пользу такого сотрудничества с художником.

...Мысль каждый раз рождается, как новая листва на старых стволах, которые питаются крепкими и надежно постоянными корнями.

Читатели Пришвина следом за ним легко освобождались от ложных обольщений поверхностного мудрствования и возвращались к своим корням, к народной своей первооснове, учась снова доверять голосу крови и жить с природой в одно сердце, как деды или как дети.

Человек долго выходил из природы, пока гордая его мысль не доросла до фаустовских притязаний полной перестройки по продиктованным меркам, а Пришвин взял и повернул мысль иною стороною, сказав миру: мы одной крови, вернувшись в него как действительно памятный сын почти всеми оставленной матери.



Из архива мецената, книгоиздателя Аркадия Елфимова

...Философ-то ведь не тот, кто верно и к месту употребляет понятия «имманентный» или «гносеология», а тот, кто знает, как растет Целое, и умеет сказать об этом росте с исчерпывающей ясностью, для кого мир не хаотическое собрание частных, а закономерная целесообразность.

Он знал несправедливость во многих оттенках и на личном опыте, и в окружающей реальности, но учился «помещать» искусство в ту часть своего существа, которая твердо хранила правду...

Платонов продолжал в критике то же дело, которое делал в могучей своей, печальной и насмешливой прозе – звал литературу к полноте ответственности.

Художник – существо общественное.

...Человеческое в человеке развивается постоянно и активно, все время находится в становлении.

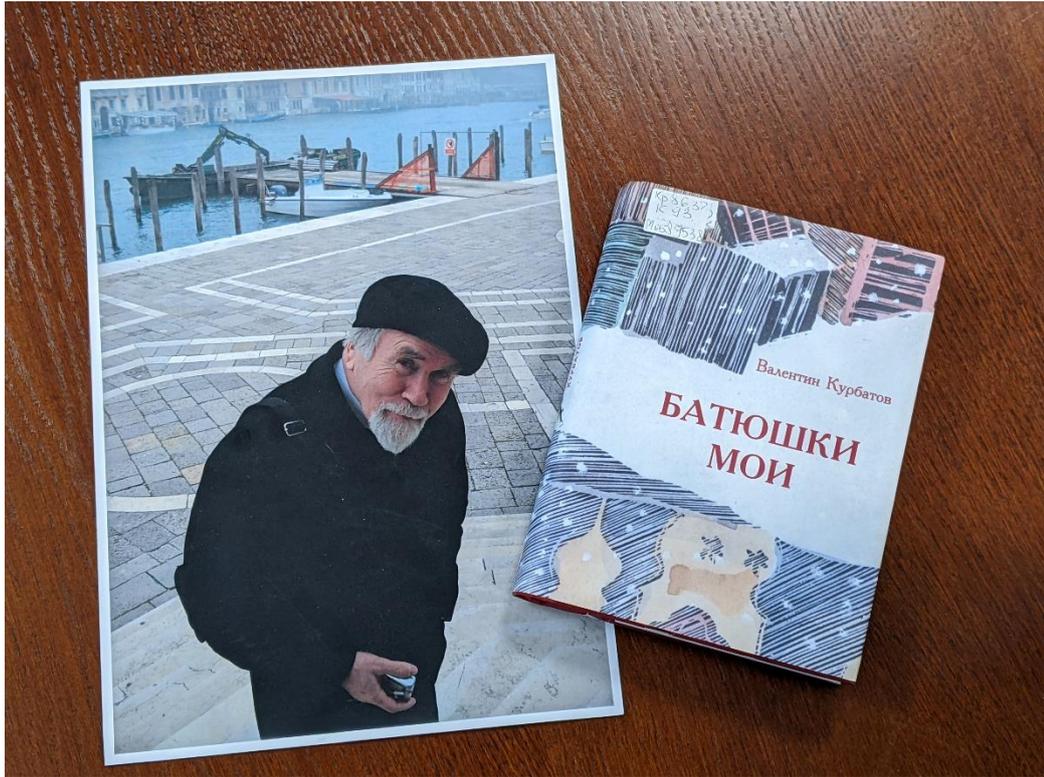
...Природа не употребляет для воздействия на человека каких-то «художественных средств», а только живет.

...Забвение, если оно ждет художника, – это «мнение народное».

Есть старая ободряющая мудрость – «рукописи не горят». Но человечество давно успело убедиться, что им и необязательно гореть: они легко рассеиваются и истлевают просто без читательского глаза. И нельзя сказать, сколько освободительных мыслей, сколько великих книг, сколько замечательных догадок умерло по житейски простой причине – некому было разобрать наследие по смерти того или иного большого ума.

...«Вещество жизни» во всей его обыденности, складываясь в душе художника в целое логического миропорядка, преображается в личность, способную сказать: «смерти нет».

7. «Батюшки мои» («Вниду в дом Твой»)



Не было никакой книжки, а была сначала просто жизнь.

Мне было трудно носить это счастье слышания и понимания каждый день нового мира одному.

А история и состоит из миллионов «я», каждое из которых буквой ли, запятой, междустрочным пространством говорит свою часть мирового текста.

Когда забывает себя вера, забывает и икона, и даже зорким умам византийская школа уже кажется дикой и варварской. Ложная красота вытесняет живую аскетику.

За столом новые люди. Я только что видел их, входя в монастырь, и невольно подумал, что православные лица так родственны, что хочется поклониться, – будто где-то недавно видел или дружен, да забыл.

Я уж за долгие годы в церкви только-только сумел догадаться, что служба – это не полуневольная дань Богу, чтобы потом поскорее вернуться к своим делам, а именно главное дело и есть, именно единственно полное человеческое дело на земле, и стою без усталости, и радуюсь слитности...

А когда бы слышали, то понимали, что в молитве образ равен слову, и пению, и самой молитве, что тут врозь ничего нет. И каков образ, такова и молитва.

Вот потом и читай искусствоведов – почему так. А они изучают родную икону при общем дневном свете своих лабораторий – вне архитектуры храма и столетия, света и времени года их рождения. А начали бы и сами новые иконописцы думать об этом и писать не в мастерских, а в самих храмах, глядишь, икона опять была бы во всякой земле и всякой стороне света и у всякого мастера различна.

Зашел в деревянный храм. Стужа. А уж Богородица почти дописана. И была бы дописана, когда бы не холод, а вот не уносит в мастерскую, чтобы единства света не повредить.

Не всякая радость выходит внешним ликованием.

Возрождение России возможно, только если все обернется к Христу. Другого пути нет.

...А свобода-то – это не выбор. Когда выбор, то уж свободы нет, а есть произвол. Бог свободен, ибо он благ, он не выбирает между злом и добром. Как и духовный человек только тогда свободен, когда идет к Богу, то есть ко благу – единственным, но твердо избранным путем. Свобода – это тесные врата, и она чудится как Царство Божие.

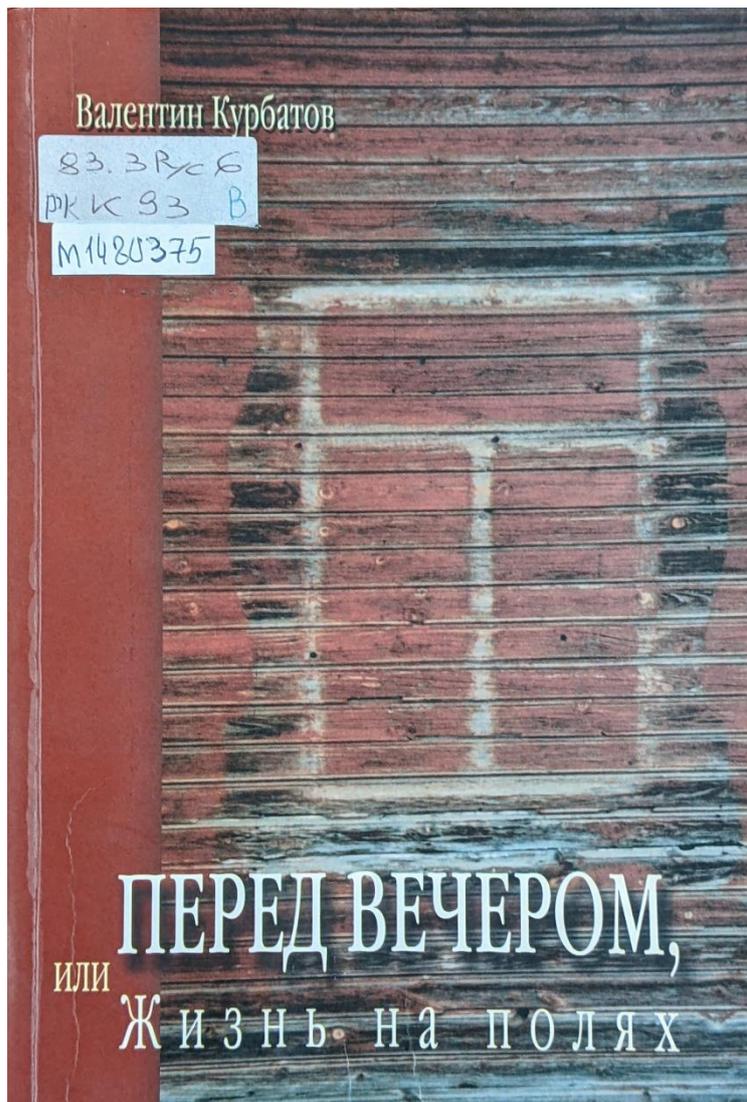
...И я в очередной раз понимаю, что человек, живущий вечностью, живет одним днем. Ему надо все здесь и сейчас, потому что вечность его не отвлечена, а пронизывает каждое мгновение и требует полноты проживания этого мгновения.

Главное не уставать искать не земного, а небесного, и тогда земное будет верно и плодотворно, будет помнить живые связи мира, тайные токи истины и

порядка, укрепит в человеке чуткость к незримым струнам, которые протянуты от сердца к сердцу и на которых Господь играет мелодию мира.

Опять я вижу, что мы больше спрашиваем о жизни, чем живем, больше ищем ответов, чем отвечаем.

8. «Перед вечером, или Жизнь на полях»



Но когда твой день клонится к вечеру и солнце садится с какой-то символической предупреждающей красотой, сердце нет-нет и оглянется. Захочется удержать это солнце подольше, чтобы успеть что-то договорить, понять, зачем ты изводил бумагу и чем отблагодарил Бога за счастье быть человеком.

Попробуй затми Пушкина любым почитанием. Всего наизусть знай, все толкования перечти, а откроешь на любой странице, и опять это изумляющее чувство полноты и тайны. Опять как впервые. И опять чувство свободы, и власти, и свежести. Знаем, знаем все, и уж не умом, а генетикой знаем, словно он наш общий предок, наш Адам – то, что А. Григорьев назвал смятенно-восхищенным словом «наше все». А вот ни усталости, ни привыкания. Кто из поэтов выдержал бы еще такое испытание? Ну да ведь остальных и хватает на одни юбилеи, а его на каждый день.

Михайловское было суждено ему, написано на роду. Сердце было готово давно, ум глубок и ясен, и не хватало только этой неволи, тесноты, монастырской мерности и заточения, чтобы все собралось разом общими усилиями созревшей души, михайловской природы, русской истории и православной церкви.

Он обнял собой слишком многое в русском сердце, чтобы уже ослабленный, окончательно теряющий свою целостность мир не подыскал какого-нибудь случайного повода (дуэль была одним из лучших и «жанрово» наиболее соответствующих поэтической судьбе поводом) и не устранил поэта. Судьба и история любят рядиться в одежды случайности, чтобы их не сразу узнали. История расставалась с цельностью, с единством земного и небесного, выбирая дорогу толпы, дорогу множественности, дорогу распыления человека и слова.

Ни в каком сне никогда не увидишь в такой учительной роли Пушкина, потому что он – весь народ, вся вековая крепость России, вся ее душа, последний ее кристалл, который можно было только разбить, чтобы мир, наконец, мог без помехи сойти с дороги единства на гибельный путь разбегающихся частных, и потом уже только тосковать об утрате, как Адам об оставленном рае.

Он был первый Поэт России. Он был ее последний Поэт. Он был золотой образец, явленный Богом миру как символ лучшего в русском сознании, русском языке, спасительном небесном единстве.

Тут и понимаешь, что время – вещь тонкая и для жизни оно одно, а для главных человеческих вопросов – совсем другое.

Приедете в Михайловское – увидите Пушкина: эти поля, небеса, свет, простор, поднебесный полет и невольное счастье.

Ничего в себе не предашь и ничего не уступишь, если не хочешь опустошить себя.

Сегодня всем немислимым опытом безрелигиозной жизни мы понимаем, что ничего случайного в истории не бывает, что она известна на небесах до последнего движения и не остановлена даже в самом страшном, потому что человека нельзя научить иначе. Русского человека – тем более.

Есть ли сегодня люди, перечитывающие старые книги? Просто так – из желания повторить счастье первого чтения, погреться у воспоминаний, ускользнуть от злой власти времени? А между тем что это за чудо и что за дорогие открытия поджидают нас на насквозь исхоженных полях, которые уже в минувшем веке часто казались оставленными за бесплодием.

Мы сейчас как никогда в «собирательном» народе живем, где уже человек и сам себя научился видеть с обобщенной обезличенностью, и в литературе искать той же отвлеченности и уже не бледнеть при стихах о России, и не обмирать от гордости за величие русской короны, так декоративно и неуместно венчающей сегодня заемных византийских орлов. И совсем нет в сегодняшней прозе того, что в Бунине могущественнее всего – растворенности в живой русской природе, которая была не «фоном», а кровообращением, силой любви и болью каждого героя и его спасением, так что на все укеры в пейзажности он, как и его Арсеньев, отвечал, что «нет никакой отдельной от нас природы... Каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Да, многое ушло навеки, и подлинно больше не будет той России, которую он знал и которую остановил в такой красоте и силе. Нет уже чего-то самого коренного, чем все они жили и что знали. Но когда (я пишу это в конце мая) забьется перед утром и рассыпет свою сверкающую, росно-алмазную, как неудержимая нитка просыпавшихся ликующих бус, песню соловей в сорных кустах над мелкой Мирожкой в Пскове и батюшка перед утреней потихоньку спросит: «Соловьев слышали?» – и улыбнется как тайне и радости, то все подступившее было после чтения отчаяние и согласное чувство невозвратности прекрасной русской жизни отлетит, и ты опять дома, и Россия стоит за окном в ожидании опаматования и лечит тебя этим утром и золотым бунинским словом и возвращает надежду на долгое и достойное этой страны и этой культуры будущее.

Каждая книга развивается по вполне гераклитовым законам – в ее «воду» нельзя вступить дважды даже одному читателю: старея, мы извлекаем звук не тех струн, что звучали нам прежде. Большие эпические книги тут особенно показательны – каждый хоть однажды проверял это на «Войне и мире».

Это удивительное чувство – вдруг открывать, что что-то еще докипает в нас, и видеть в тексте ответы на вопросы, которых мы не задавали, и узнавать причины тех связей, которые смутно ощущали, но которые невозвратно захламили и замусорили «достижениями прогресса» и верою во всесилие самодовольной мысли.

Всякое время, видно, читает в книгах свое, и тем великие книги и велики.

Человек без сознания вечности годится для политической борьбы, для митингов, для кратких целей нынешнего дня, но для жизни, для главного ее порядка и устройства – он «материал» слабый.

Не решив вопрос о Боге, о месте церкви в общественной жизни России, подлинно ничего не решишь. Во всяком случае, не решишь главного, самого долговечного и единственно живого.

Очень это похоже и очень по-нынешнему – томиться и не знать. Тем более что мы еще по укорененной в нас привычке последних десятилетий все себя причин-то ищем, страшась сознаться, что они внутри, потому что такое сознание потребует слишком ответственных решений и слишком глубокого душевного переоборудования. Пока ты слеп вместе с обществом, ты можешь хорошо писать его внешнюю жизнь, его зло, его черную сторону, его слабое добро и искать укрепления этому добру и быть в этом и чистым, и смелым, и необходимым другим таким же слепцам, так же в потемках ищущим выхода. Но как только душа прозревает, ее ждут настоящие испытания и перо выпадает из рук.

Тексты стареют стремительно, потому что стремительно меняется жизнь. Книги делаются «легче», и их хватает на день-два. Тем важнее ухватить устойчивое, крепкое, непреходящее, скрывая от себя понимание, что и эта «устойчивость» недолговечна, как день.

Это неправда, что поэты ищут одиночества. Они как раз менее всего способны к этому принципу миропонимания и существования и как раз более других ищут согласия, уверенности, устойчивого круга, системы. Не зря каждый значительный поэт непременно автор поэтики, философии мира, собеседник космоса.

Устойчивости хочется, устойчивости, уверенной ясности – желание, как кажется, объединяющее сейчас старого и малого. Ведь мы потому и не наговоримся никак – в переписке ли, вызывающей смятение почтальонов, в начальственных ли кабинетах, рабочих курилках и просто за домашним столом, что торопимся понять минувшее, прозреть завтрашний день и скорее ответить на будничные вопросы вечности: зачем человек и куда идет время?

История не только безжалостна, она и целительна и подает руку поддержки в живых параллелях, как и старая культура, которая тоже суд и помощь.

Существование в открытой истории, когда все социальные беды обрушивались сразу на всех (то полстраны исторгают из деревни, то полстраны – в лагерь), в конце концов приводит к тому, что героем литературы становится каждый человек, принося с собой все оттенки частного миропонимания. Это пока трудно осмыслить, но мир героев по сравнению с минувшим столетием безгранично расширился, раздвинувшись до человечества. Тип, которым была сильна минувшая словесность, сменился индивидуальностью, герой сделался единичен и в единичности оказался неисчерпаемое типического характера. Мы плохо приготовились к этим приобретениям, испортив взгляд на малосодержательных стереотипах, от которых одной доброй волей не излечишься. И художник прошел тот же путь, многое верно увидев и слишком многое поняв, так что теперь ему и себя сознавать и сознавать.



Из архива режиссера Вячеслава Орехова

Потребность в синтезе путей человека и общества, правды будничного существования и правды истории, национального и общерусского неизбежно вновь подталкивает нас к поискам целостного знания, к восстановлению человека в полноте его значений.

Когда это успело случиться, что мы перестали творить жизнь и стали только комбинировать цитаты и из реальности ушла плоть, оставив «набор программ», «информационное пространство»? А мы не заметили и вот мечемся в этом умозрительном пространстве и не знаем выхода – бесконечный тупик. Кажется, это была самая «бархатная» из мировых революций, удачнее всех спрятавшая когти в мягких лапах интеллектуальных соблазнов.

Мы живем дома, в России, это наша история, и чтобы она в дальнейшем была чиста и не увечила человека, надо видеть ее, не пряча глаз от опасных страниц. Сильным и правым перед миром можно быть, только спокойно разбирая минувшее и доказывая, что видишь все как должно и не страшишься труда преодоления, потому что живешь не для общественного мнения и чужого суда, а для суда Божия и ответа перед детьми.

Не оттого ли никак и не понять нас «цивилизованному человечеству», что мы слишком связаны с нашим простором и нашим пейзажем, пронизаны ими.

Отношения искусства и христианства только-только начинают сознаваться как следует, потому что то и другое, несмотря на внешнее благополучие ситуации, оказались как никогда под угрозой. Оба рискуют пасть жертвой почтительного равнодушия. И тут уж не до деления на толпу и избранников – от обеих сторон потребны сдержанность и любовь. Давно прерванная почти, позабытая история взаимоотношения двух великих духовных институтов открывает новую страницу.

Дал бы только Бог не обмануться – весной всякая надежда кажется молода и бесконечна...

Вот это, пожалуй, самое главное в столичном влиянии и есть – унифицирование человека, обезличивание его как раз тогда, когда, казалось, можно говорить о разрушении прежнего так прокливаемого общественного уровня. Тут только та тонкость, что общественное разрушено, а индивидуальное, личностное не создано. Оно подменено одиноким, что, увы, не одно и то же. Личность может складываться и укрепляться только в упорядоченные времена незыблемых правовых или моральных установлений (хотя бы опровергаемых, но ясно

определенных). Пока же человек предоставлен самому себе в стране без права, без ясной, четко сознающей свое место в нравственном строе общества религии, его сминает худшее из одиночеств, опознаваемое по равнодушию к столичному произволу.

Разрушение – дело веселое, оно под песню и гром крепкой горластой казенной меди идет само собой, а созидание – это труд и молитва, пот и спокойная сила, любовь и знание цели.

Жизнь – это сбывшееся слово, слово, ставшее поступком, привычкой, живой реальностью. Твоей судьбы и судьбы Родины, а творчество в определенном смысле – перевод идеи в плоть жизни, ночной мысли – в труд дня, и перемена качества этой жизни узнается как раз на путях такого перевода.

Быт и нравственные страдания потерявших опору людей слишком теснят их, чтобы выслушивать рацеи о качестве жизни. Им бы не слова умножать, а простую уверенность утвердить, но за человека этого не сделаешь: ему самому решать, как перевести слово в содержание сердца.

Однажды оглянешься и вдруг со смятением увидишь, что многих твоих друзей уже нет, а ты помнишь только их отдельные мысли, нечаянные обмолвки, редкие, запавшие в память дни. И заторопишься записать хоть то, что упомянул. Удержать их, пожить с ними подольше.

Есть воспоминания, к которым крадешься, боясь спугнуть их, будто выманивая у жадного времени, норовящего припрятать их подальше. Ходишь вокруг, подбираешь разные малости, нарочито обстоятельно пишешь пейзажи, спутников, течение дня, чтобы время почувствовало в тебе союзника, доверилось и отдало свою добычу.

Есть дни, куда довольно прийти по-хозяйски. Там все твое, только протяни руку – все на своих местах и ждет твоего внимания, чтобы сразу бежать под перо.

И есть неожиданные дары, когда позабытый день вдруг вспыхнет, как в слепящем полотнище молнии, и ты успеешь увидеть отпечатавшееся на сетчатке глаза, казалось, навсегда забытое мгновение. И как вмиг следующий за молнией гром, явятся и слова, обрывки фраз – сколько увидишь и услышишь при молнии.

Величие настоящей дружбы, пожалуй, заключается в том, что друзья непременно будут стараться перезнакомить между собой и своих друзей, чтобы в каждом по возможности видеть отражение всех. Иногда случается так, что, уходя

без времени, они оставляют нам друзей словно бы в завещание, и мы сходимся с опозданием, печальась, что уже не сможем порадоваться полноте встречи...

Век, отразившийся в его зеркале, научил нас, что страдания было больше, чем света, но оно не сожгло этого света даже в пропасти войны и вынесло человека к мужественной необходимости принимать нерешенность и непредсказуемость жизни, не предавая этого опыта, но преодолевая и изживая его в христианском осознании и преображении.

Мысль живет в своем летоисчислении и старится не от времени, а от невнимания. А зажжется еще в ком-то прямым ответом и поживет.

Нынче, когда подошел час настоящего испытания, какого Россия не знавала и в пропасти Смутного времени, оглядка на историю должна помочь отличать зерна от плевел и вразумить нас, наконец, что Православие – не ветвь культуры со свойственной культуре периодикой, а столп и утверждение Истины, и, только так понимаемое, оно способно собрать народ русский для назначенного ему подвига спасения чистоты этой Истины от растлевающего приспособления к веку сему.

Всегда душа выбирает из целого то, что больше всего питает или уязвляет ее сегодня. Отозвавшись сегодняшнему, скорее дотянешься до вечного, скорее откроешь связь этого сегодняшнего с прошедшим и ожидаемым.

Здесь особенно остро понимаешь, что церкви не могут быть памятниками, ибо они рождены для жизни и представляют на земле вечное сегодня Тело Христово, которое не знает прошлого, а всегда ЕСТЬ. Где бы эта церковь ни стояла.

Мы все уезжаем в чужую страну из своего времени и привозим с собой всю суету, часто оскорбляя руины празднословием и надменностью живых перед мертвыми, но возвращаемся мы все-таки немного другими, узнавшими если не всю тайну времени, то его настоящую длительность и тем словно коснувшись тени древа жизни, побыв на минуту в этой тени, где нет вчера и завтра, нет человеческих границ, а есть таинственное чувство сверстничества со всеми событиями мира, словно ты сам их отец и сын и внук, и они приручены твоим сердцем и являются частью тебя и только в тебе и живут. Так что на минуту догадаешься, что все, что случилось в мире, случилось с тобой и ради тебя и живо только в тебе. Этим чувством нельзя жить долго, но, однажды коснувшись его, уже не вернешься в оставленный день, потому что над ним будет Господня рука, короткое касание вечности, которое просветит этот день вечностью и покажет его настоящую длительность, потому что этот день стоит навсегда. И все рождения и смерти

цивилизаций короче одной человеческой жизни, короче одного правильно понятого дня, которому нет конца.

Но душа-то у нас дитя не только своего малого или большого дома, она – дитя русской истории, по которой мы все родня и по которой, собственно, и зовемся народом. Мы можем не думать и даже вовсе не знать об этом, но душа, столкнувшись с таким явлением, как Псков, Новгород, Кострома, какой-нибудь малый Галич и совсем крошечный Кологрив, таинственным образом сразу узнаёт свое генетическое, народное прошедшее и жадно открывается навстречу ему, будто мы вспоминаем что-то глубоко личное, детски близкое, что мы знали, да за беготней забыли.

В разный час жизни художник говорит с миром по-разному. И история поворачивается разной стороной. Тут объективности не жди. Сколько художников, столько и взглядов. Даже и у одного мастера душа в разный час обнимает или отталкивает мир, и ты светлеешь или темнееешь в ответ. Наше сердце ищет вмешаться в диалог художника и мира, потому что это и наша история, наше прошедшее, наша жизнь.

Кажется, это мы сами сделали из своего прошедшего немного сказочный, а из церкви – умилительный мир, который и схватывает художник, умеющий слышать игру тренированным слухом и послушной рукой. Мы пока больше играем в память и дух, и это неизбежно сказывается на порядке жизни, на наших памятниках и на наших службах. Наверно, это неизбежно – всякое возвращение немного театр. Мы словно побаиваемся слишком строгой своей истории и слишком требовательного христианства и надеемся задержаться в детстве, где прошлое только нарядная этнография, а церковь – терапевтический институт для немощных, но душа уже просит первообраза и настоящей силы, а взрослеющее сердце просит мужества и правды.

Беседа ведь прекрасна именно этим – неожиданным прорывом к себе, когда, ухватившись за слово, рифму, промельк чувства, внезапно кидаешься перебивать собеседника, пока не забыл, потому что ослепительная яркость Бог весть откуда взявшегося понимания требует немедленного выхода. «Беседы блаженнейший зной» – звала это чудо Ахматова.

И потому поэзия и есть светлейшее проявления народного гения, и потому она хранит, и бережет, и завещает новым поколениям его душу, хотя бы, казалось, как сегодня, что весь народ поделился только на продавцов и покупателей и разбежался по торжищам. Смею сказать, что поэзия – пусть это не покажется святотатством и кощунством – более хранит образ народа в его Господней полноте, чем религия,

чья история и предание замешаны на чужой истории и предании, слишком перевешивают настоящее и более небесны, чем национальны.

Живущая одним днем, бедная провинция не умеет понять, что она по-настоящему славна не заводами своими и шахтами, хотя бы они гудели и дымили во все небо, не красотой своих рек и нив, хотя бы эти нивы горели золотом хлебов до горизонта, даже не чудом своих лебединых храмов, а теми своими неудобными и порой беспутными детьми, с которыми при жизни так много хлопот, но кто дал этой земле имя, кто нарек ее рассветы и полдни, ее волю и долю, ее горе и любовь, достоинство истории и свет человека – ее поэтами, музыкантами, художниками. Это они несут имя малого своего города и единственные его черты миру и прививают душу малой своей земли к общенациональной душе и вековому русскому духу.

Когда пушкинское Михайловское от тебя в ста двадцати километрах, грешно время от времени не оказываться там на день-другой. Находишься, нагладишься, набубнишься пушкинских стихов, которые выбегают еще из школьной памяти, и опять можно жить.



Из архива мецената, книгоиздателя Аркадия Елфимова

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова» благодарит за участие в проекте волонтеров Татьяну Иванову, Надежду Костину, Алину Лысакову, Анастасию Серкову, Валентину Лазуто (Красноярский край), Елену Преображенскую, Екатерину Хромину.